

Николай КОРСУНОВ

(1927 — 2009)

ВЫСШАЯ МЕРА

*Главы из книги
«Высшая мера»*



В два часа ночи по берлинскому времени командующий 2-й танковой группой генерал-полковник Гудериан энергично сел в свой большой, играющий лунными бликами «мерседес». Помимо адъютанта пригласил к себе начальника штаба барона Курта фон Либенштейна и художника Макса Рихтера. По лицам генералов и старших офицеров Макс угадал, что это приглашение командующего они приняли как старческую прихоть. По званию и положению место Макса в одной из последних машин, несшихся следом по шоссе Варшава — Брест. Может быть, командующему хотелось поговорить с художником о чём-нибудь отвлечённом, далёком от тех забот, которыми напряжённо жил в последние месяцы и недели? Об искусстве, например? Разрядить, расслабить уставший мозг, уставшие нервы. Ведь предстояло такое!..

Но в салоне автомобиля молчали, точно вслушивались в свист рассекаемого воздуха, в рокот бетонки под колёсами. Время от времени фары задних машин высвечивали сидевших, и тогда Макс, сидевший сзади меж адъютантом и начальником штаба, хорошо видел перед собой Гудериана. Плечи квадратные, над погонами золотистое свечение. Туго напряжённый, выбритый затылок тонко подчеркнут белым подворотничком. Широкая тулья фуражки затеняет левую щеку, но всё равно виден на ней круто выступивший желвак — признак высшей сосредоточенности командующего. Если скосить глаза вправо — прямоспинный, замерший вертикально адъютант, вторые руки и ноги Гудериана. Слева — его второй мозг: барон глубоко откинулся на спинку сиденья, черты его лица заострились, и даже в полумраке заметно, как

он бледен. Переутомлён? Недоспал? Волнуется?

«Все мы думаем сейчас об одном и том же: через несколько десятков минут — свершится! Мы, счастливики, на острие исторического события. Загрохочут орудия, взревет танки, устремятся в небо бомбовозы... — Макса лихорадило, непривычно потели ладони. Даже волдырьчики на губах повыпрыгивали. — Нервы? Страх? Необычайность грядущего? Говорят, к виду убитых и человеческой крови можно привыкнуть... «Кто убивает человека, тот убийца. Кто убивает миллионы людей, тот победитель. Кто убивает всех, тот бог...» Кому принадлежат эти слова? — Он мучительно морщился, напрягая память, но не мог вспомнить. Передёрнул лопатками: — Не знаю, не знаю, можно ли стать богом, убив всех!..» Вспомнил о Хельге: она, наверное, смогла бы стать. Позавчера, провожая, немного всплакнула, потому что догадывалась о скорой войне. Однако тут же твёрдым голосом сказала: «Пусть тебя ничто не угнетает, дорогой! Ты — немец, а каждый немец обязан быть выше всех других людей. Я всегда верила и верю в тебя, в твою высокую звезду, ты это знаешь».

Их там, в трудовом лагере, знали, как и чем начинать!

Доктор Геббельс тоже, напутствуя, сказал: «Я верю в вас, Рихтер!..» Он энергично проха-

живался по кабинету и азартно потирал ладони, говорил высоким возбуждённым голосом: «Что, где, как? — я вам не скажу, Рихтер! Досужих толков много, а истины нет и не будет до часа икс. Мы создадим вселенский хаос, чтобы породить звезду. О часе икс вы узнаете от генерал-полковника Гудериана, к штабу которого я вас прикомандировываю. Генералу вы понравились, поздравляю!..»

Макс горячо благодарил, почтительно поворачивался вслед за хромавшим министром пропаганды. Тот напрасно напускал туману, Макс на сто процентов был убеждён: война — против большевиков. Став за последние полгода более внимательным, он заметил, что доктор Геббельс патологически не любит русских и даже, казалось, не стремился скрывать этого, ходили разговоры, что он ни одной собственной строки не опубликовал в пользу германо-советских отношений. Получалось, Советам вовсе не рука протягивалась, а лапа со спрятанными когтями. Лапа тигра.

«Повторяю: я верю в вас, Рихтер, — продолжал он пророчествовать и всё ходил по сияющему паркету, теперь заложив одну руку за спину, а другую за борт военного френча. — И потому делаю вас свидетелем и участником величайших исторических побед немецкого оружия.

Фюрер и нация обязывают вас силой искусства увековечить эти события...»

Макс тянулся от усердия: «Благодарю за высокое доверие, доктор!.. Но... доктор...»

«Что? — резко крутнулся тот на здоровой ноге, похоже, услышав сомнение. — Что, Рихтер?»

«Доктор... я бесконечно люблю наше отечество... Доктор, я должен льстить ему или говорить правду своими произведениями?»

Министр, чуть обнажив нижние длинные зубы, смотрел на него, Макса, и не глаза были у министра, а холодные узкие щели, бедой грозившие неувёртливому, непонятливому. Разомкнул обтянутые сухой тонкой кожей челюсти, сведённые раздражением, пояснил назидательно: «Для того чтобы запечатлеть мгновение, Рихтер, я посылаю туда фотографов и кинооператоров. Вы же, Рихтер, обязаны возвысить германскую нацию и её армию в живописи. Но это не должно быть ни лестью, ни эпитафией: и там, и там правда опускает глаза... Высшая правда подвластна лишь большому художнику. Когда мы смотрим на изображённый им цветок, то слышим жужжание пчелы, хотя её и нет на рисунке. Такова сила искусства!.. Знаю, вы, Рихтер, слишком мягки и добры для немца. Я велю вам быть более немцем, потому что добрые люди никогда не говорят правды, они

лгут из сострадания. Добрые всегда были началом конца. А я велю вам сказать правду силой вашего таланта...»

Говорил Геббельс и длинно, и довольно выпренне, языком, каким были написаны его романы и повести, но Макс был охвачен тихим радостным помешательством, и всё ему казалось глубокомысленным и уместным. Боги поддаются лести пигмеев. Мог ли пигмей устоять перед лестью бога! Сделай в те мгновения Геббельс ласковый поощряющий жест, и он, Макс Рихтер, ринулся бы целовать его ботинки. В те мгновения, сглатывая сладкую слюну счастья, Макс безоговорочно верил в пляшущую звезду, которую породит обещанный шефом пропаганды хаос. К ней! И в кисельный туман уходила обратная связь, подмеченная популярным философом: чем больше стремится человек вверх, к свету, тем сильнее устремляются корни его в землю, вниз, во тьму, вглубь — во зло... Не вспомнились в те мгновения иные слова того же Фридриха Ницше: «"Нет ничего выше меня", — говорит чудовище. И не одни только длинноухие и близорукие падают на колени». Но они, эти слова, ещё, быть может, вспомнятся...

А в тот час подмывало его красной ценой отблагодарить доктора. Язык мой — враг мой, откусить бы его, потому что с него просилось: доктор, я нашёл

государственного изменника! Тот мерзкий стихотворный пасквиль писал мой шурин!

Да, сомнений не могло быть: почерк Ральфа соответствовал тому, какой видел Макс у доктора Геббельса на фотокопии, Макс был уверен в зрительной памяти. «Ты сообщишь о нём в гестапо? Или прямо самому доктору Геббельсу?» Глаза Хельга отвела, голос сухой, отчуждённый. Макс пожал плечами: ни того ни другого он пока не собирался делать. Всё так же глядя в сторону, она промолвила: «За укрывательство тебе грозит концлагерь. Всем нам». Но на вопрос, что же она предлагает, тоже неопределённо пожалала плечами. Потом сказала, что непутёвого брата надо как-то спасти. Больше они не возвращались к Ральфу, хотя оба часто думали о нём.

Подлы — от силы.

Честны — от лени.

Долебезили,

Доуцелели...

Попробуй забыть, не думать!.. Где он сейчас, солдат вермахта? В последний раз проверяет лёгкость поворотов башни, хищно поводя пушкой? Или горячими нервными ладонями ощупывает холодные тела снарядов в ящиках и бортовых кассетах? Или перед атакой высунул из танка и жадно курит, курит и смотрит на звёзды? Почему он так озлоблен против нового порядка?

Коммунисты или социалисты влили в его жилы желчь? Коммунисты или социалисты...

Помнишь, Макс, зимние дни 1933 года? Голодный, ненавидящий весь мир первокурсник художественной академии стоит перед афишной тумбой и читает предвыборный плакат. Плакат призывает левые силы оставить в стороне разногласия и объединиться в борьбе против фашизма. Фотографическая память по сей день выхватывает заключительные слова воззвания:

«Постараемся сделать так, чтобы природные пассивность и трусливость сердца не дали нам погрязнуть в варварстве...»

«Коммунист или социалист?» — раздаётся сзади вкрадчивый вопрос. Макс оборачивается, и трое молодчиков налетают на него, валят на тротуар и бьют — кулаками, пинками, стальной цепочкой. Вспугнутые чьим-то свистом, быстро исчезают в переулке, успев содрать с тумбы воззвание. Он кое-как поднимается и, пошатываясь, прикладывает к разбитым губам и носу снег. Мимо по тротуару стучат, шуршат, поскрипывают шаги прохожих, до Макса никому дела нет. Снег в руке быстро напивается красным. Кровь капает к ногам, к обрывку плаката. На обрывке остались слова: «...природные пассивность и трусливость сердца не дали нам погрязнуть в варварстве...»

И Макс сквозь слёзы начинает хохотать...

На обрывке воззвания остались несколько подписей, очень знакомых избитому голодранцу: писатель Генрих Манн, художница Кете Кольвиц, врач Карл Кольвиц... А через несколько дней, недели, пожалуй, за три до всеобщих выборов в рейхстаг, Генрих Манн и Кете Кольвиц изгоняются из Прусской академии художеств. Мужа художницы, Карла Кольвица, лишают врачебной практики. Их сына Ганса увольняют с работы в больнице...

Всё это быстро становится известным среди студенчества, но почему-то мало кого волнует. «Природная пассивность и трусливость сердца»?.. Но почему тогда крылатость обретают слова симпатяги Розенберга, произнесённые в Мюнхене при закладке Дома искусств?

«Германские штурмовики, несомненно, больше сделали для искусства, чем многие профессора высших школ. Отсюда исходит право нового движения предписывать новому миру свои законы».

И многие слушатели покидают учебные аудитории и мастерские академии, идут в отряды штурмовиков, в армию, в партийные канцелярии, воспитателями в трудовые лагеря... Отнюдь не «пассивность и трусливость» звали их туда. Однокашников влекла

та же причина, что и мужа Эммы Кребс, сменившего карьеру музыканта на карьеру эсэсовского подфюрера. Почти в каждом человеке заложена жажда переустройства мира, желание повелевать им...

У Макса никогда не было такого желания, а тем более желания отдуваться за чужие страсти собственными боками. И этому мальчишке Ральфу давно бы пора успокоиться, не петь с чужого голоса. Если уж терять голову, то в грядущем сражении, нынче в этом больше чести и славы...

Век опостылел.

Больше нет мочи.

Мы — как пустыни,

Сброд одиночеств...

«Тьфу, ну и заскоки у парня! Но ведь и талантливо, право!» — Макс мученически встряхивает головой и заставляет себя думать о другом.

...В салоне чуть слышно пахнет дешёвым солдатским одеколоном (таким освежается после бритья Гудериан) и дорогими французскими духами — слабость начальника штаба. За припущенным стеклом бьётся упругая свежесть ночи. За кюветом вспыхивает роса на травах.

— Роса падает на траву, когда ночь наиболее молчалива...

Сказана фраза — и опять немота в мчащейся на предельной скорости машине. А минут через пять — снова:

— Кто делает наиболее нужное для всех? Тот, кто приказывает великое. Исполнять великое трудно, но ещё труднее приказывать великое...

Барона определённо потягивает на философию и афоризмы. Либенштейн не свои мысли изрекает, но не это сейчас важно. Важно, вероятно, то, что и Либенштейну, как и Максу, невозможно долее молчать.

— Земля стала слишком круглой!

— Сейчас ей вскрыют вены, — обещает адъютант.

— И за рытвинами дело не станет, вы хотите сказать?

— Конечно, господин подполковник.

Гудериан шевельнулся на своём месте.

— Не поломайте ноги, друзья мои, в этих рытвинах.

Все с готовностью улыбаются шутке командующего.

— Кстати, о вскрытии вен, — после паузы начинает начальник штаба. — Вы знаете, ваше превосходительство, Кребса?

— Того, что из Москвы недавно вернулся? Подполковника?

— Нет, Кребса из СС. Его красавица жена, говорят, вскрыла себе вены. Говорят, какая-то любовная история. И якобы сам Кребс просится в действующую армию...

— Не верю в последнее, — сухо произносит Гудериан и двигает головой — тугой воротник давит шею. — Меня гораздо больше интересует полковник

Кребс, вернувшийся из России. Много занятых вещей рассказал... А тому — не верю! — И тонкие губы его смыкаются, как сработавшая гильотина.

— Пожалуй, вы правы, ваше превосходительство, — соглашается начальник штаба, поняв, что этот разговор командующему неприятен.

Конечно, не о столичных сплетнях надо сейчас говорить. Они опошляют и принижают надвигающийся час. Но о чём тогда говорить и думать? Напрасно считают, что у военных нервы свиты из морских канатов. Военные тоже люди живые. Думать о предстоящем наступлении? Ему отдано всё. Всё! Оно до последней запятой обдумано и расписано. И, как всё гениальное, выглядит ныне чрезвычайно просто: мощные танковые клинья разваливают оборону русских на куски, куски эти уничтожаются войсками второго эшелона, а лавины танков неудержимо устремляются к Москве, Ленинграду, Киеву... Победа будет достигнута быстро и малой кровью. Не случайно же прикомандирован к штабу этот белокурый красавчик: увековечить! Не меньше.

В наступившем молчании Макс ловил на себе пытливые взгляды барона. Истолковывал их по-своему. Знал ли барон подробности? Не нарочно ли заговорил о ней, чтобы увидеть, как отнесётся к этому он, Макс?

Бедная, бедная Эмма...

Вскоре автомашины свернули с шоссе на рокаду и заторопились влево, на север. Затем по слабому просёлку выехали на небольшую возвышенность и остановились возле вышки, поставленной, похоже, недавно: от неё пахло свежеструганной сосной.

Подскачивший майор что-то докладывал вылезшему из машины Гудериану, а Макс, потихоньку разминаясь, огляделся. Кругом стояли штабные автобусы, устремив в небо острия антенн. В стороне виднелась большая палатка. Больше ничего не увидел не привыкшими к темноте глазами. Зато услышал чьи-то быстрые шаги, комариное нытьё телефонного зуммера, писк морзянки. В темноте слух обостряется. И ещё — запахи. Они были родными, деревенскими. Ветерок навевал сладковатую пыльцу цветущей ржи, острую прель перегорающего навоза (наверно, где-то недалеко была деревня). Они растрогали Макса. Если б не примешивались к ним запахи каучука и бензина!..

— Как там, на той стороне? — различает Макс слова Гудериана.

— Русские ничего не подозревают, ваше превосходительство.

— Благодарю, майор...

Вчера и позавчера командующий с темна до темна объезжал свои части, проверял их готовность к наступлению. Несколько раз с приграничных наблюдательных пунктов рассматривал в бинокль русский берег: там

тишина и покой. В Бресте, который хорошо просматривался, играл духовой оркестр и шёл развод караулов. Макс потом слышал, как Гудериан говорил своему начштаба: «Русские ни о чём не догадываются. Элемент внезапности стопроцентный, и мне жаль, что мы запланировали массируемую артподготовку на целый час. Жаль снарядов. Успех гарантирован и при более экономном расходовании боеприпасов...»

Подняться на вышку по узкой крутой лесенке Гудериан пригласил немногих. Среди них был и Макс. Стеснились на верхней, огороженной перилами площадке. Тут ветерок посвежее, но Гудериан отказывается от предложенного адъютантом плаща. Он поднимает руку, всматриваясь в стрелки светящегося циферблата.

— Господа, сверим ещё раз... Три часа десять минут...

Все быстро смотрят на свои часы и столь же торопливо устремляют взоры на восточный край неба, чуть подсветлённый зарёй. Смотрит туда и Макс...

Через пять минут начнётся... Через четыре... Через три...

А в небе трассируют звёзды. В польской деревне поют петухи и лают потревоженные собаки. Резко, как выстрел, хлопает дверца машины, заставив людей вздрогнуть. Гудериан что-то сердито шипит, и адъютант, перегнувшись через перила, грозит вниз, в темноту, кулаком.

В руке начальника штаба, на отлёте, напряжённо гудит телефонная трубка.

Через две минуты...

И тут наступает морозная, знобящая тишина, от которой у слабонервных зубы начинают, как при лихорадке, пощёлкивать. Даже звёзды помельчали. О таких минутах немцы говорят: «Слышно, как тянутся тучи». И по-другому: дурак родился. Макс ощутил в себе туго скрученную стальную пружину, готовую разорвать внутренности. Он ждёт чуда. Такое бывает раз в жизни. Не ошибётся ли фокусник?!

Через минуту...

Барон фон Либенштейн несёт к уху трубку, медленно, как кажется Макс, чуточку театрально несёт. И ещё кажется Макс, что собственное его сердце начинает вдруг угасать, тикает еле-еле, словно в нём завод кончается...

Вначале в небо прыгнула ракета и, как кошка, выгибая спину и шипя, осветила всех красным дрожащим светом, точно на пожаре. В то же мгновение по горизонту прошла огненная судорога, и Макс понял: из десятков орудий выпрыгнуло дульное пламя. И ещё через мгновение уже за рекой, за границей, задрожали белёсые зарницы. Только после этого землю покорёжила судорога, встряхнула наблюдательную вышку — Макс произвольно и постыдно ухватился за холодные

от росы перила, — туго качнулся воздух, и расстояние принесло тяжёлые, утробные вздохи, слившиеся в непрерывный гул. «Как под мостом, когда по нему проносится товарняк! — машинально отметил Макс, вновь ощущая мускулистую силу своего сердца. — Это и есть, значит, артиллерийская подготовка? Немецкий Давид нанёс первый удар русскому Голиафу...»

Грохотало впереди, справа, слева, по всему восточному горизонту, смятому, изорванному скачущими огнями бешеной орудийной пальбы.

Гудериан отрывает бинокль от глаз и протягивает его Макс.

— Полюбуйтесь. Грандиозное зрелище. — Оборачивается к генералам и офицерам, напрягает голос: — Друзья мои, русскому фельдмаршалу мы можем крикнуть: «Доброе утро, господин Павлов! Вам нравится наш немецкий фейерверк?»

Шутка командующего вызвала улыбки. Макс тоже вдруг естественно хихикнул, засмеялся, а затем и расхохотался, не помня, когда ещё так неудержимо и бессмысленно хохотал. И никак не мог остановиться, хотя и понимал, что хохот этот у него дурацкий, истерический, и его, точно икоту, не унять, пока не расслабятся закрученные до предела нервы.

— Капитан! — сердито обернулся Гудериан.

Сконфуженный Макс умолк так же внезапно, как и начал.

Чувствовали себя сконфуженными и остальные, стали хвататься за бинокли, планшеты, разворачивали карты местности, хотя в них ещё ровным счётом ничего нельзя было разглядеть... Нехорошо, право. Пускай молниеносная, пускай победоносная, но всё-таки война. Будут раненые, будут и убитые. А у главнокомандующего в передовых батальонах два сына...

— Как там?! — Гудериан всё ещё не остыл от раздражения.

— Всё по плану, ваше превосходительство! — голос начштаба стушевался в напряжённом, нарастающем гуле, который придавил и землю, и артиллерийскую канонаду. Вышка дрожала в мелком ознобе.

Гудериан, а вслед за ним и остальные взглянули на часы.

— Хорошо! — Гудериан помягчел. Истово любил пунктуальность.

В светлеющем небе шли армады бомбардировщиков, шли без истребителей сопровождения, спокойно, уверенно, как на учения. «Везу-у-у, везу-у-у!..» — басыли их перегруженные моторы. Везли кому-то последний час, последний миг...

Было три часа сорок минут.

— Началась переправа передовых частей семнадцатой и восемнадцатой дивизий через Буг! — рапортует фон Либенштейн, не отрывая телефонной трубки от уха.

Гудериан удовлетворённо выглядывает на часы: четыре пятнадцать...

— Первые танки семнадцатой и восемнадцатой дивизий форсируют реку!

— Отлично! — не удерживается от восклицания командующий, опять вскидывая руку с часами: четыре сорок пять... — Чьё подразделение первым перешло?

— Рота старшего лейтенанта Вильгельма Штамма!

— Помню героя по варшавским боям... Отлично, отлично...

Только ближайшие его помощники знали, почему он особенно обрадовался последнему сообщению. Сегодня впервые в боевой обстановке испытаны танки, способные преодолевать брод глубиной до четырёх метров. Подготовку и проверку этих машин Гудериан начал среди песчаных дюн французского побережья, когда ещё всерьёз помышлялась против Англии операция «Морской лев». Нынче, перехитрив всех, «лев» прыгнул не через Ла-Манш, а через Буг. И раз танки уже там, на русском берегу, значит, идеи и надежды командующего успешно приняты практикой боя.

Легко, молодо Гудериан стал спускаться по крутым деревянным ступеням, похлопывая чёрной перчаткой по влажным перилам.

Макс, всё ещё чувствуя себя виноватым за дурацкий смех, отстал, задержался на вышке. Опять окинул взором даль горизонта, понимая, что такие минуты не повторяются. И это, конечно, не восходящее солнце выкрасило восток, это война его

обагрила. Оттуда, кажется, тянет гарью пожарищ. А в воображении лепятся, набрасываются сюжеты.

«Хорошо, право же! — Макс, по-мальчишески прыгая через две-три ступеньки, сбегает вниз. — А тебя, дорогой Вилли, поздравляю. Жжёшь ты свою свечу с обоих концов и горишь ярко. Я тебя тоже напишу! Я придумаю, как тебя изобразить, милый большеухий земляк... — Теоретизировал: — Человека, особенно героя, надо представлять публике более чем в натуральную величину. Обывателя волнует легенда, а не сам человек. Ореол, как правило, более притягателен, нежели объект...»

В штабном автобусе, сизом от росы, на полную мощь включили радиоприёмник, и оттуда поплыли величественные звуки фанфар. Шагавший впереди Гудериана офицер заторопился:

— Господа!..

Остановились, замерли возле автобуса с опущенными стёклами и распахнутой дверцей. Густая, торжественная медь смолкла на вздохе и снова лилась, растекалась по утренней польской равнине, стискивая и вздымая сердца. От этих неземных звуков мурашки бежали по спине. Макс видел, как побледнело лицо начальника штаба. У Гудериана подрагивала коленка. Сосед справа закрыл глаза и жарко дышал сквозь стиснутые обнажённые зубы. О, сила музыки! О, сила искусства!..

Наконец, после значительной паузы, — знакомый и дорогой Макс голос. У доктора Геббельса за плечами дышала история. Он сам творил историю. Горячо и вдохновенно зачитывал он звание фюрера к германскому народу. Русские хотели напасть на Германию исподтишка, как разбойники на большой дороге, фюреру удалось разгадать коварный замысел большевистской Москвы, поэтому он, фюрер, решил нанести незамедлительный упредительный удар, чтобы спасти немецкое государство, всю мировую цивилизацию от смертельной опасности...

Сквозь звенящий, накалённый страстью голос Геббельса приглушённо докатывались гулы дальней канонады, уханье бомбовых взрывов. Мелко, судорожно вздрагивала под ногами перепуганная земля. У солдат охраны восходящее солнце высветило на пряжках поясных ремней чёткую готику: «С нами бог».

«Бог всегда на стороне больших батальонов!» — ни с того ни с сего вспоминает вдруг Макс слова Вольтера. И ещё вспоминается ему фотография русского майора-танкиста в руках Гудериана: «Где вы сейчас, Табаков?»

Вверху послышался конский топот, стих. Фыркнула лошадь. Затрещал валежник, вниз посыпалась земля. Разом вскинули головы. Прыгая с выступа на выступ, к рыбакам спускался отец Кости. Кивком, хмуро, поздоровался,

вяло опустился на брезент. Молча принял кружку с водкой, выпил. Был он чем-то удручён. Все с тревогой смотрели на его лицо с каплями пота в молодых морщинах лба.

— Война, Иван Петрович... Немцы по всей границе напали... Молотов только что по радио выступал — директор школы слышал...

Тихо-тихо стало возле костра. Лишь над рекой длинно и печально кричали чайки. Первым обронил слова Стахей Силыч:

— Вот эт-т-то да-а!.. Ты меня прости, Иван Петрович, за всякие несуразные слова. То не в счёт. У всех у нас один прикол — родина-матушка...

По течению быстро спустились к избушке с новеньким перевальным столбом, возле которого их ждал с лошадьёю Василий Васильич. Гуськом поднялись на яр. Здесь Табаков на минуту остановился, обвёл взором горизонт. Колыхливы дали, качали их горячие марева. За острой азиатской скулой дальнего яра приглушённо ворковала вода на перекате. А на душе — дума думу перебивала. Что с Машей? Как Вовка? Как полк встретил войну?

Вспомнилось утро отъезда из Минска. Он, Табаков, лежал на верхней полке и смотрел в вагонное окно. Вдалеке, над самым горизонтом, свисал белокаёмчатый подзор облаков, лёгких, спокойных. Но внезапно там раз за разом всплеснулась зарница.

Потом чётко стало видно, что это молнии вспарывали облака. Чуть погода оттуда отделилась назревшая лилово-серая туча и стала догонять поезд. И догнала на какой-то станции. Дождь вначале длинно лизнул первыми каплями по стеклу и вдруг затарабанил по стенкам, по железной крыше гулко и часто. У Табакова возникло такое ощущение, будто он застрял под прицельным огнём в бронеавтомобиле, по которому лупят из крупнокалиберного пулемёта. Пули не страшны, но под ложечкой — тоска: вдруг шарахнут из пушки!

И вот теперь — шарахнули. Выдержит ли броня?..

К посёлку шли споро, молча. Не слышали, как стрекотали кузнечики в разомлевшей траве, как позвякивал уздечкой и отфыркивался от комаров и слепней конь, топавший на поводу за Василием Васильичем. Не видели белого облачка в высоком небе, оно скользнуло по солнцу, лёгкой тенью прошло по лугу, по лицам людей. Над головами путников беспрестанно мельтешила, не отставая, коричневая пустельга. Из-под их ног выскакивали толстобрюхие кузнечики и грузно взлетали зелёные большие богомолы, пустельга складывала острые крылья, ныряла вниз и тут же вновь взмывала, держа в коготках добычу.

Костя забежал вперёд, оборачиваясь, вглядывался в лица взрослых. Ему казалось, что все трое очень уж угнетены, точно на

их веку это была первая война. Неужто испугались фашистов? Да сроду не одолеть фашистам Красную Армию! В кино показывали парад на Красной площади — там такие танки шли, такие самолёты летели! Получат гады по зубам, это уж точно, долго будут помнить. И эта война прогремит мимо Кости, как летняя гроза.

Когда поднялись по взвозу в посёлок, увидели возле осокинской мазанки чёрную «эмку», окружённую ребятей. «За мной, похоже», — сказал Табаков. Шофёр сидел за баранкой и нетерпеливо смотрел на подполковника в расстёгнутой старенькой гимнастёрке и на его спутников. Табаков кивнул ему, здороваясь, и вошёл в избу. Минут через пять появился переодетый, туго затянутый широким ремнём со звездой, в фуражке с чёрным танкистским околышем. Следом Костя нёс кожаный чемодан.

Возле машины Табаков сначала пожал всем руки, а потом, секунду или две помедлив, обнял поочередно Евдокию Павловну, Василия Васильича, Каршина, Костю, поцеловал каждого.

— Доведётся ли...

И только по этому молчанию, горячему прощанию Костя наконец осознал, насколько тяжкой видится взрослым война с немцами. У него дрогнуло внутри, спазмы сдавили горло.

— Иван Петрович... можно я с вами поеду? Хотя бы до вышки. Можно?

— Садись, Костя. Садись...

Василий Васильич придержал Табакова за рукав, вопросительно, с надеждой взглянул:

— Отобьёмся, Иван Петрович?

Тот помедлил — и как гвоздь в мягкое дерево, по самую шляпку:

— Обязательно! — Добавил после небольшой паузы: — Фашисты сами себе приговор вынесли. Но... твоим выпускникам-курсанткам, похоже, придётся сесть на трактор, Вася...

Табаков сел рядом с шофёром, Костя забрался на заднее сиденье, старательно захлопнул за собой дверцу. Завернули к амбулатории. Настя быстро, но с осторожностью беременной женщины вышла на крыльцо. Увидев в машине дядю, успокоилась, даже улыбнулась:

— Это вы! Я подумала, тяжёлобольного привезли... Ко мне ведь мало кто с радостью...

Она ещё не знала о войне. А когда Табаков объяснил ей причину внезапного отъезда, стала белой, как её халат.

— Дядя... Иван Петрович... ведь это, наверно, очень серьёзно?

— К сожалению, да.

— А как же Вовка, жена ваша? Они же там...

У Табакова дрогнули ресницы.

— Не знаю, племяшка. Будем надеяться...

Поцеловал Настю трёхкратно, и она уткнулась лицом в его

грудь, расплакалась. Настя тоже, оказывается, умела плакать, Костя этого не знал. Табаков гладил её волнистые тёмно-рыжие волосы и повторял одно и то же:

— Ну, ничего, Настюша... Ничего, ничего... Всё будет хорошо, всё будет хорошо...

В заднее оконце Костя ещё долго видел Настин ослепительно-белый халат. В ушах его звучали её последние слова-всхлипы: «Вот... опять одна... Всегда... всегда я одна...» Она ведь, правда, почти всю жизнь без родни. Родители умерли в двадцать втором от тифа и голода, а грудную Настюшку соседи отдали в детдом. Целых семнадцать лет Иван Петрович разыскивал племянницу, знал о которой понаслышке.

Слева, в километре примерно от дороги, показалась чабанская юрта, возле неё, как вскинутое удилище, торчал колодезный журавль. К юрте тюхал на саврасом иноходце казах. Стремёна у него подтянуты высоко, и коленки на уровне конской гривы. Подпоясанный арканом стёганный бешмет собрался на спине коробом. На голове — войлочная шляпа-самовалка. Ясно — Шукей!

Увидев пылившую по дороге машину, Шукей задёргал нетерпеливо поводьями, развернул лошадь и, охаживая её слева и справа камчой, поскакал наперерез. Обгоняя его, с лаем мчали собаки — настоящие волкодавы.

Чабан отчаянно махал над головой камчой, прося остановиться.

— Останови! — нервно сказал Табаков. — Что ему надо?

Шукей по-стариковски неловко ссунулся с седла, прикрикнул на собак, повод обмотал вокруг переднего буфера «эмки». Улыбающийся, довольный, что остановил-таки «шайтан-арбу», протиснулся в кабину, обеими руками поздоровался с каждым.

— Здоровы ли ваши дети? Здоровы ли ваши руки? Крепки ли ноги?

— Спасибо, аксакал, всё в порядке. Извините нас, мы очень торопимся. Очень!

— Зачем торопиться? Русские всегда торопятся! Айда в кибитку, чайку попьём, айран попьём, барашка зарежем — бешбармак сварим... Новости, начальник, скажешь. В степи живу, совсем ничего не знаю. — Чабан открыл роговую табакерку, натрусил на ноготь большого пальца тёртого табаку, всосал ноздрей, стряхнул остатки с жидких усов. — Айда, пошли в гости. Не отказывайся, начальник, обидишь Шукея... Война? Какая война? Война скоро кончится, кунак. Война — плохо: парнишка мой, Арман, в армии. Кончится война, начальник, победим... Пошли, мал-мал чай попьём, а? Скучно Шукею — один, один...

Пришлось распрощаться. Через некоторое время, всё ещё

думая о чабане, Табаков произнёс негромко:

— Нескоро до всех дойдёт, как страшна будет эта война...

— Всё равно разобьём!

— Конечно, разобьём, Костя, только какой кровью...

Костя выпрыгнул из машины возле Убиенного мара. Протянул руку Ивану Петровичу. Тот пожал её крепко, энергично, как мужчина мужчине. А Косте вдруг захотелось расплакаться, еле удержался.

— До встречи, Костя... Мы ещё с тобой порыбачим! — Табаков прижал паренька к груди, к орденам. — Будь счастлив, дорогой мой мужчина...

Завернув за крутое плечо мара, машина скрылась. Костя побежал к мару. На его макушке — белохвостый беркут, как казачий пикет, азиатским прищуром уставился вдаль, туда, где растилалось пшеничное поле, куда уехала машина. Костя и раньше взбирался по крутизне скатов, поросших жёстким блескучим

ковылём, но сейчас курган показался особенно крутым и высоким, подошва чувяка то и дело оскальзывалась.

Беркут повернул к нему сплюснутую голову, помедлил, потом развёл громадные крылья и, вытягивая шею, сделал пробежку для разгона, поднялся в воздух. Пролетел над густым малахитом пшеничного поля, где зимой Костя вместе с другими занимался снегозадержанием, ушёл в небо, к солнцу.

Целая вселенная виделась с макушки мара. Сзади — далёкие белые пятнышки излученских изб, синеватая кайма леса в уральной пойме. Впереди, за хлебным полем, — петляющая серая дорога. Она то подвигивала под телеграфные столбы, то сновала меж ними, то отбегала далеко в сторону. И мчалась по ней, подпрыгивая на ухабах, сверкающая маленькая машина, увозя дорогого Косте человека. Удаляясь, обтаивала, как ледышка. Наконец исчезла за увалом.